

Первый грех

На каком языке говорили в раю? Ты, верно, думаешь, что на русском... Я тоже так думал, когда был маленьким. Маленький француз, если спросишь его об этом, вынет палец изо рта и ответит: «Конечно, в раю говорили только по-французски!» Маленький немец не задумается: «По-немецки, как же иначе»... Но все это не так.

В раю говорили на райском языке. Люди его сейчас позабыли, а звери, может быть, помнят, да и то не все. Чудесный это был язык: в нем совсем не было ни бранных, ни злых слов. Понимали его не только Адам и Ева и жившие с ними в раю крылатые духи, но и звери, и птицы, и бессловесные рыбы (даже рыбы!), и пчелы, вечно перелетавшие с цветка на цветок, и качающиеся травы, и любая скромная ромашка, расцветавшая в тени райской ограды.

Вечерами травы шептали на лужайке под темнеющими пальмами:

— Тишина... Засыпаем...

— И мы... — отвечали, кивая тяжелыми гроздьями, бананы.

— Спать! Спать! — гудели в воздухе райские золотые шмели, слетаясь на ночлег в дупло трехобхватного дуба, что рос у ручья возле тропинки к водопою.

— А где тут трава помягче? — бурчал неизменно каждый вечер грузный носорог, укладываясь среди колючего тростника на покой. Он тростник называл травой, и казался он ему мягче пуховой постели.

Звери даже во сне разговаривали. Мартышки визжали и хихикали — они видели только смешные сны; сонная рысь, облизывая свесившуюся с дерева лапу, тихонько урчала: «Ах, какой большой сладкий финик»... А бегемоты, выставив из тины похожие на чемоданы морды, зевали, смотрели спросонья на встающую малиновую луну и фыркали:

— Фу, какое сегодня мутное солнце.

И добрые все были — удивительно. Комары никого не кусали, — что они ели, я не знаю, но ни Адама, ни Еву, которые ходили без всякой одежды, ни один комар ни разу не укусил. Гиены не грызлись между собой, никого не задирали, сидели часами скромно под бананами и ждали, пока ветер не сбросит им тяжелую душистую вязку с плодами. Львы облизывали всех, кто к ним ни подходил, даже скверно пахнувших шакалов, — ели траву, и так как наесться травой дело было не простое, то они, как быки и лошади, по целым дням не подымали морды от сочных стеблей, — а проворные белки, которым и минуту трудно усидеть на месте, играя друг с другом, бегали взапуски по львиным спинам, как по мягким диванам.

Однажды на лужайке перед закатом звери вздумали играть в свою любимую игру: в лестницу. В гимназии мы тоже играли когда-то в такую игру и называли ее «пирамидой», но звери такого мудреного слова не знали.

Первым стал слон, скосил умные маленькие глаза в сторону и сказал в нос: «А ну-ка!»

Потом растопырил ноги, опустил голову, покачался и утвердился посреди лужайки тверже скалы. На слона взобрался, отдуваясь от одышки и осторожно

выпуская когти (чтоб слону не было больно), толстый тигр, на тигра взлезла горилла, на гориллу медведь, на медведя пантера, на пантеру рысь, на рысь мартышка, на мартышку белка, на белку крыса, а на крысу — мышшь...

Играли в лестницу, как видишь, только такие звери, которые умели лазить. Остальные расселись вокруг всей лужайки, смотрели и веселились.

И вот слон осторожно поднял одну ногу, переставил, — потом другую и пошел вдоль всей лужайки, солидно и тихо, словно кадку с мороженым нес на голове. Горилла ревела, рысь весело мяукала, крыса, задрав хвост, пицала, как вырвавшийся из хлева поросенок, — и только мышшонок на самом верху лестницы дрожал и крепко прижимался животом к крысе: у него кружилась голова.

Из зарослей кактусов на веселую игру смотрели кролики. Среди них один белый, любимый кролик Евы, — а рядом, вытянув плоскую голову, притаилась огромная, жирная гадина-змея. Как она попала в рай? Переползла через ограду по крепкому плющу, или добрый архангел Михаил, стороживший райские врата, сделал вид, что не заметил ее, когда хитрая тварь проскользнула мимо него на заре, сверкая и блестя чешуей?.. Не знаю. Она одна никогда ни с кем не играла, таилась от всех и молча проползала в кустах, зловеще поглядывая на зверей, — глаза у нее были желтые, цвета мутного студня, с черной поперечной ниточкой в зрачках.

Белый кролик, круглый и пухлый, как муфта, не успел оглянуться, как все его кроличьи друзья ускакали куда-то за рощу, чтоб посмотреть на «лестницу» с другой стороны лужайки.

Задремал он, что ли, или надоело прыгать, — он остался на месте, разлегся, поднял нос и беспечно дышал. И вдруг рядом из-под папоротника поднялась тяжелая змеиная голова, раскрыла медленно пасть и, не мигая, уставилась на него круглыми желтыми глазами. В первый раз в жизни стало бедному кролику страшно: сердце забилось, как муха в стакане, под ложечкой затошнило, лапки к земле приросли, — голова с желтыми глазами все ближе и ближе, все страшней и огромней, — и жало, словно вьюн, так и мелькает вверх и вниз, вправо и влево.

Крикнуть? Позвать других зверей? Но бедный кролик вдруг все райские слова позабыл, даже пискнуть не мог, только задними лапами со страха два раза в землю ударил и...

Первые переполошились райские птицы. С деревьев сверху им все видно было: смотрят, лежит змея под папоротниками в тени, хвостом чуть-чуть шевелит, а в пасти у нее белая кроличья спина и задние лапы дергаются и с каждым мигом все глубже и глубже в змею влезают. Встрепенулись и, словно разноцветные цветы, с криком полетели на лужайку к зверям. Мигом рассыпалась «лестница»! Прибежал грузный слон, и тигр, и мартышки, и мышшь, все, все, — окружили гадину, ничего понять не могут.

— Отдай кролика! — загудел слон.

— Отдай! — пискнула мышшь.

— Отдай, отдай! — заворчал медведь.

— Сейчас же отдай! — заревел тигр...

Отдай да отдай... Так она и отдаст. Слюной его, бедняжку, всего облюнула и все глубже и глубже в пасть засасывает.

Что делать зверям? Браниться не умеют, отнимать силой — не догадались, никогда у них таких историй не было. И вот рысь спохватилась первая: где Ева?

Она для них как добрая мать была, — ее любимого кролика змея глотает, — надо за Евой бежать.

* * *

Ева сидела над райским прудом под пальмой, склонилась к воде, заплетала и расплетала светлые волосы — был ей пруд яснее всякого зеркала. Не поняла она сначала торопливых слов задыхающейся рыси: кролик — змея — глотает — не отдает! Поняла только, что с ее любимым белым кроликом какая-то беда стряслась. В раю, ты знаешь, не было ни детей, ни ягнят, ни щенят, ни котят, никто их никогда и в глаза не видал, но Ева почему-то больше всего любила таких зверей, которых можно, как младенца, на руки взять. Слон велик, белка на руках не усидит, а белый кролик — такой ленивый, и теплый, и пушистый — был ей всех милее..

Встала Ева и пошла быстрыми легкими шагами, едва касаясь травы, к зверям. За ней вприпрыжку, высунув язык, рысь.

Пришла и — видит: звери перед змеей в кучу сбились, и Адам тут. Да и он не в помощь. Стал перед зверями и, как попугай, повторяет за другими: «Отдай кролика!» А у кролика только розовые пятки из пасти дрыгают.

Всплеснула Ева руками, соленые капли так из глаз и брызнули (никогда она раньше не плакала), и скорее-скорей через колючие кактусы, сквозь заросли шершавых кустов побежала к райским вратам, — и все кактусы и папоротники расступились перед ней и шумели ей вслед: скорей! скорей!

Архангел Михаил стоял у широко открытых врат и смотрел вдаль на обступившие райский сад румяные от заката горы. Каждый вечер смотрел — и не мог насмотреться.

— Что с тобой, Ева? — спросил он удивленно, обернувшись на быстрые шаги.

— Змея! Кролика!

— Так я и знал... — нахмурился Михаил и, подняв перед собой огненный меч, освещавший, словно факел, темнеющую землю, пошел за Евой.

Веером расступились звери перед архангелом. Опустил он пламенем книзу струистый меч, облокотился на золотую рукоять, и закорчилась, как на копье, под взглядом его лучисто-синих глаз змея...

— Ты! — топнул ногой крылатый страж. — Злая и низкая тварь! Ты прокралась сюда тайком. Я не выгнал тебя, живи, — в раю для всех есть место. Но если ты не хочешь жить по-Божьему, я заставлю тебя, как прикованную, не двигаться с места! Вон там, видишь, — Михаил взмахнул багровым мечом, — там, куда никому доступа нет, посреди рая стоит яблоня...

— Древо познания добра и зла? — быстро спросила любопытная Ева, с трудом выговаривая странное слово «зло».

— Да, добра и зла, — строго ответил архангел. — Ни днем, ни ночью, — наклонился он к змее, — не смеешь ты сползать со ствола: лежи и сторожи... Ступай!

Змея покорно шевельнулась и медленно поползла.

— А кролик, а кролик! — закричала взволнованная Ева.

— Отдай кролика, — тихо сказал архангел. Змея поползла дальше.

— Отдай кролика! — верхушки пальм вздрогнули, так крикнул архангел.

Понатужилась змея и, сверкая желтыми глазами, как резиновый мячик выбросила из толстой пасти чуть живой комочек к ногам Евы.

Бедный кролик! Он едва дышал, чихал и дрожал и был весь мокрый, словно новорожденный котенок. Только на руках у Евы стал он приходить в себя и дышать ровнее...

Ушел архангел к вратам. Разбрелись на ночлег удивленные звери. И, шумя потемневшей травой, проползая мимо ног испуганной Евы к заповедному дереву, злобно прошипела, блестя тусклой чешуею, змея:

— Жа-ло-вать-ся! Ну погоди же, я тебе отомщу...

.....

Как она отомстила, ты, верно, уже знаешь — прочел в школе. А не прочел, так узнаешь в свое время.

1922

Об Аркадии Аверченко

Неожиданная кончина широко популярного писателя-юмориста, так преждевременно ушедшего из жизни, еще теснее смыкает круг русской писательской семьи. Кто бы ни ушел из тех, немногих, кто привлекал к себе внимание за последние десятилетия, — поэт ли, прозаик, драматург, — смены нет и не видно.

Первые литературные шаги А. Т. Аверченко еще на памяти читателя связаны с основанием им в конце девяностых годов в содружестве с несколькими литераторами и художниками «Сатирикона», близкого по облику мюнхенскому «Simplicissimus»'у. Никому не ведомый харьковский провинциал приехал в Петербург и на страницах нового журнала, столь непохожего на прежние кустарно-юмористические еженедельники, сразу выдвинулся своим сочным, здоровым юмором, своеобразным талантом рассказчика-весельчака, сумевшего расшевелить самого серьезного и хмурого русского читателя.

Чуждый надрыва, далекий от всех интеллигентских «проклятых» вопросов, Аверченко сделал своим героем мелочи быта, а острая наблюдательность, четкое знание русской провинции, особое чувство смешного, — связанное, быть может, с его хохлацким происхождением, порой доходило до виртуозной игры в его коротеньких рассказах-анекдотах. Автор, чуть ли не единственный в прозе представитель беспечной русской богемы, сталкивал лбами неожиданные положения, развивал до гротеска какую-либо уродливую, подмеченную им в толпе черту и, не глумясь, не уничтожая своего случайного героя, весело над ним потешался и отпускал его с миром. Таков был далекий предшественник Аверченко, популярный в свое время немецкий юморист Сафир, современник Гейне.

Длинный хвост подражателей, все эти Гуревичи, Оль Д'Оры и Ландау, упражнявшиеся на задворках «Сатирикона» и окружавшие блеклым гарниром имя своего учителя, ни в малой мере не усвоили своеобразных черт его письма: меткого и короткого диалога, нарастания внешнего комизма, неожиданного фейерверка развязки.

Аверченко создал стиль и моду, а бойкая юмористическая артель торговала шипучкой, разливая ее в бутылки из-под чужого шампанского.

Среди тяжелодумов той поры, мрачно копавшихся в вопросах пола, неуклюже флиртовавших то с мистическим анархизмом, то с проблемой смерти, свежий заразительный юмор Аверченко был, несомненно, оздоравлиюще полезен и сыграл свою общественную роль помимо направленного безразличия автора.

Быть может, длительная фельетонная работа, срочная, связывающая размером и зачастую комкающая темы, помешала покойному юмористу развернуть свое дарование в более широкие бытовые полотна, помешала ему стать тем, чем был Федотов в живописи. Но, увы, счастливая возможность выдерживать свои рукописи в ящике письменного стола, возможность неторопливого и независимого от злобы дня творчества была неосуществима для тех, кто, подобно покойному, жил исключительно еженедельно-журнальным и газетным трудом, не дающим ни передышки, ни места для широких замыслов. А альманахи и толстые журналы с упорством староверов

чурались юмора, предпочитали ему любую муйжелевскую мочалку, тянущуюся с января по декабрь.

* * *

В эмиграции, вне окружения старого многоцветного и сочного русского быта, добродушный юмор Аверченко резко надломился. С непоколебимым упорством вгрызлся он в безрадостную и бездарную тему: «большевизм». Сатира сменила юмор. Ненависть к порабощателям быта заслонила веселую усмешку обывателя над забавными нравами своей родной улицы, беспечно шумящей за его окном («обывательское» отношение для нас сегодня отнюдь не жупел, а напротив — во многом здоровое, утверждающее национальный быт начало).

В последние годы Аверченко неутомимо бил своей легкой скрипкой по чугунным красным головам, и это невеселое, новое для него занятие является большой и доблестной заслугой покойного писателя. Разумеется, за вывернутой наизнанку сумасшедшей большевистской жизнью никому не угнаться. Любая вырезка из советской хроники фантастичнее любого гротеска самого Щедрина, но в мире все растущего эмигрантского безразличия и усталости дорого каждое слово протеста и непримиримого отрицания красной свистопляски. Были «сменившие вехи», были и полусменившие, а вот веселый и беспечный юморист оказался одним из самых стойких и непримиримых.

* * *

Мы надеемся, что в эмиграции найдется русское издательство, которое догадается выпустить в свет «Избранные рассказы Аверченко». Покойный автор отличался одним редким качеством: он почти никогда не был скучен. А избранные его рассказы, собранные внимательной рукой и связанные вместе, не залежатся на книжных складах и будут лучшей данью памяти жизнерадостного писателя и человека, который вне всяких теорий словесности простаком-самоучкой пришел в литературу и всем нам подарил немало веселых минут.

18 марта 1925

Русская книжная полка

В какое эмигрантское жилье не придешь — прежде всего ищешь глазами: а есть ли здесь книжная полка? И нередко, увы, вместо книжной полки со стопкой русских книг увидишь глупую куклу маркизу в углу диванчика, граммофонные пластинки с негритянскими завываниями, пачку билетов со скидкой в ближайшее кино («Скрежет страсти», «Объятье мулатки») и замусоленную колоду карт на столе.

«Помилуйте, — говорят иные, — какие там книги! Жизнь птичья, эмигрантская, где там еще на перелете книжной полкой обзаводиться».

Так ли?

Живем подолгу, многие десяток лет кряду сидят в своих «иноземных» углах, кое-кто и мебелью обзавелся, и даже книжный шкаф купил по случаю подержанный... Но книг так и не завел.

Дорого!

Но ведь весь Пушкин стоит не дороже глупой куклы маркизы, нескольких пластинок с фокстротами, нескольких билетов в угловое кино, не дороже двух бутылок с вишнежкой.

Скажем просто:

Только тот причастен к русской культуре и в меру сил хранит ее и передает своим детям, кто у себя дома, в своем гнезде, не может обойтись без русской книжной полки.

Ибо если и от русской книги отвернемся, выбросим ее из обихода, — не превратится ли ежегодный праздник «дня русской культуры» в торжественный холодный парад, в официальные поминки по гениям русской мысли?

1930. Париж